

Александр Дорошенко

«Художник нам изобразил
глубокий обморок сирени...»



Лев Межберг

Дачи

Как же вы говорите, что Льва Межберга не стало, что он умер, что закрылись его глаза? – если мы это видим, то видим именно его глазами, и уже потом различаем что-то свое!

И снова долгим днем,
В саду, в сияньи листьев,
Где шляется пчела
Над лестницей, в пыли

Вода горит огнем,
И в бездне летних истин
Навек душе тепла
Верна судьба земли

Борис Поплавский

Гости съезжались на дачу*

«Кто-нибудь когда-нибудь прочтет и станет весь как *первое утро в незнакомой стране*. То есть, я хочу сказать, что я бы его заставил вдруг залиться слезами счастья, растаяли бы глаза, – и, когда он пройдет через это, мир будет чище, омыт, освежен...»

Владимир Набоков. Приглашение на казнь

Исчезнет понятие «дача»**. Это старое и еще дореволюционное слово (в старой России дачей называлась взятка). Дачи, собственно, есть везде. Но наша фонтанская дача – это мир, особый и чудный. Нигде не бываемый больше. Это не был просто район летнего отдыха, как бывает в иных городах, – была это особая форма жизни. Иная ее психология и качество. То, что строят сегодня нувориши на Фонтанах, это не дачи, – так, дворцы за глухими

* Александр Пушкин.

** Слово «дача» это часть нашей истории, и первоначально оно означало «дарованное царем». В советское время это восстановилось по смыслу, и то же самое означало награду за послушание от государства.

стенами с вертухаями в угловых охранных будках с надменными холуйскими мордами.

Дачи на Фонтане – это были районы одноэтажных домиков, строенных из ракушечника, с толстыми стенами, просторными верандами в окружении основательных и толстых колонн, с мезонином на крыше. В таких домиках в летнюю жару было всегда прохладно, и хорошо дышалось – дышал ракушечник. У каждого такого домика был участок земли, густо засаженный фруктовыми деревьями, вишнями, черешнями, абрикосами и всякими понизу овощами. Там была веранда у входа и, если позволял участок, белела из дерева сделанная беседка среди зелени кустов и деревьев. Среди розовых клумб и жужжащих на солнце шмелей. Вечерами там собиралась семья и гости, горела над столом лампа, летела на ее свет мошкара, и шло застолье с чаепитием. Дождем намочила листва и низко к влажной земле наклонялись отяжелевшие ветви, а запах роз становился особенным, дождевым и пряным.

Дачная неповторимая незабвенная наша жизнь.

Где шляется пчела / Над лестницей, в пыли

Это так было всегда, и задолго до нас – есть на полотнах Костанди и Дворникова наши дачи, до революции, – веранда, утро, стол, и на столе накрыт чай. Узкий самовар с ручками из слоновой кости.

«В аллеях, укрытые зеленью, белели плетеные кресла. Обеденный стол был покрыт цветами, окна обведены зелеными наличниками. Перед домом просторно стояла деревянная невысокая колоннада».

Исаак Бабель. В подвале

И стулья там стояли такие же (они еще уцелели с тех времен, венские, гнutoго дерева, постаревшие и поэтому попавшие в опалу на дачи, уступив место новым в четыре ноги наглицам, но все еще и надолго крепкие и верные дачные наши стулья. Венскими их звали по имени первой крупной фабрики Тонета в Вене.

Сколько себя помню, они жили с нами, безропотно сносили на себе покачивание подростков, тяжесть посадки ученого мужа и веселье застолья. Иногда на них становились ногами, прибавляя картину или развешивая занавес на окнах, и тогда они покорно скрипели своими изящными сочленениями. Но иногда, я помню... Как много слышали они и увидели за это прошедшее столетие! Теперь с нами они тоже уходят).

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени...

Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом сумрачном развале
Уже хозяйничает шмель*

Чаще всего эти дачные домики разделены были на четвертушки, и с каждого угла открывалась отдельная дача со своим участком земли. Ограждены были участки деревянными палисадниками, крашеный штакетник утопал в зелени и колючках непроницаемо глухих кустов, чтобы никто не заглядывал посторонний в дачную жизнь.

(На калитках висели таблички с именами владельцев, и как-то я по дороге на море, перечтя эти имена, сочинил эпиграмму: «Здесь живет один Андреев, он живет среди евреев».)

Выбирались на дачу с мая (но разговоры об этом событии начинались много раньше, с первыми теплыми днями весны), переезжали женщины с детьми, а мужчины на дачу наезжали после работы, и только в отпуск все собирались вместе. Несколько недель перед выездом на дачу туда ездили по воскресным дням приводить все в порядок. Белили и красили, поправляли заборы, сжигали прошлогоднюю листву. Так работали весь день, а вечером садились перекусить и выпить. Пахло паленой листвой, руки были в следах не отмытой краски... Боже мой, как вкусно все было после дня, проведенного в работе на дачном воздухе!

* Осип Мандельштам. Импрессионизм. 1932.

Весенний трамвай, открытый настежь вагончик, весело бегущий на Большой Фонтан:

В аллеях столбов,
По дорогам перронов –
Лягушечья прозелень
Дачных вагонов;
Уже, окунувшийся
В масло по локоть,
Рычаг начинает
Акать и окать...
И дым оседает
На вохре откоса,
И рельсы бросаются
Под колеса...

Эдуард Багрицкий. Весна

А ты сидишь, запахнувшись в теплую полу и воротник куртки, щуришься от солнышка, куришь. А трамвай пишет зигзаги и выписывает восьмерки, и они всегда так необычны для нас, жителей прямоугольных городских улиц, так пленительны!

Написал – и решил, прислушавшись к холодному заоконному дождю: в ближайшие дни, когда распогодится, когда выглянет и сразу все согреет и высушит солнце, отложу все дела, прихватчу собаку, и поедем мы с ним на Фонтаны, поедем по-старому, не наспех таксомотором, но, добравшись до вокзала, сядем в открытый летний трамвай. И – поедем! Выставит в открытое окно любопытный нос моя собака. А там, за этим окном – запахи – свежей травы и дымка от паленой прошлогодней листвы. Рука моя ляжет любовно и нежно на шею собаки, поглаживая и перебирая его курчавую шерсть.

Потом нанимали машину и переезжали. Машина нужна была потому, что боялись на зиму оставлять на даче холодильник и телевизор, из-за зимнего воровства, и нужно было захватить с собой много вещей. Теплую одежду на случай дождя и холода,

всякие одеяла и пледы. Переехав, устанавливали все на места, расставляли кресла и шезлонги, и начиналась дачная жизнь.

Одни ходили на пляж поутру, встав спозаранок, и тогда могли встретить солнце, как оно поднимается и накатывается на море и пляжный песок, постепенно все согревая. И можно было плыть навстречу солнцу, по солнечной дорожке. Другие ходили вечером, когда спадала дневная жара и убавлялось число пляжников. Пляж становился чистым от людей, тихим, и море становилось похожим на море. И тогда можно было уплыть далеко-далеко и плыть по лунной дорожке. Такую лунную дорожку море протягивало только тебе, она была узкой и рассчитанной только на одного тебя. Всегда брали с собой большое махровое полотенце, потому что холодно было купаться ранним утром и поздним вечером.

Мы любили купаться в шторм в его высоких и рвущихся к берегу волнах, накатывающих равномерно, мы с веселым смехом подныривали под эти набегавшие волны, приноровившись к их высоте и ритму, но вдруг из череды одинаково огромных рассчитанных волн внезапно вырастал несущийся к берегу вал, вдвое крупнее их всех, и накрывал он тебя с головой, сбивал с ног, схватив и вынеся к берегу, мокрого, барахтающегося, веселого и испуганного. В такую высокую волну проще было уплыть в море, навстречу шторму, там волны не могут, упершись в дно, вырасти несоразмерно, там можно, умеючи, но с оглядкой на берега, слегка поиграть с рассерженным морем. И временами, оказавшись меж двух, одной прокатившейся и второй набегающей на тебя волной, ты переставал вовсе видеть берег, и вокруг были только волны и над головой низко несущиеся свинцовые облака. И замирало сердце от восторга и страха...

А если внезапно налетал летний сокрушительный в ярости ливень, когда некуда было спрятаться на открытом пляже, мы прятали в кульки и сумки одежду, а сами бежали к морю, где все равно было мокро, но всегда теплее, чем в потоках хлещущего наотмашь дождя...

И всегда весело смеялись, то ли обманув, то ли обнявшись с дождем...

(Так корабли в налетевшем внезапно шторме рубят якоря и уходят в бушующее открытое море от смертельно опасных береговых скал.)

Но некоторые, настоящие дачники, купаться ходили редко, или вообще несколько раз за весь сезон. Потому что круты наши морские склоны, труден спуск и еще труднее подъем. Потому что на даче, в ее прохладной зелени, и так хорошо – ветерок с моря, свежий и вкусный, покой, уют. Да и забот много – полить и обиходить кусты роз и всяких других цветов, накормить семью.

«Наступил вечер. Прошелестела летучая мышь».

Море внизу стало черным, оттеняясь белизной гребешков волн. Потянуло прохладой. Ах, эти дачные вечера... Небо, опрокинутое, звезды, мерцающие в темной его синеве, и на соседней даче музыка... и женский голос, поющий о разлуке... Но только надежда на скорую встречу делает желанной разлуку.

С дачей был связан и временный переход на другой базар. Такие базары были на всех станциях Фонтана, небольшие, удобные. Самыми крупными были базарчики на седьмой, десятой и шестнадцатой станциях. И всегда что-то поручалось привезти из города работающим членам семьи.

Были и еще купания – ночью. По темному и крутому склону к морю сбегала веселая компания, вставшая из-за праздничного стола. Был первый-второй час ночи, воздух был еще теплый, и море, внизу внезапно оказывавшееся прямо у ног, еще хранило дневное тепло. Оно было темным, глубокого темного цвета, много темнее ночного воздуха и поднимающихся склонов. Оно было живым и рокочущим. Море многократно отражало наши веселые голоса, и смех отражало – так весело прыгает по воде брошенный горизонтально плоский поднятый с песка камень. Так купались мы молодыми и красивыми и поэтому часто купались голыми, бросив кучей одежды на песке. Потом, наплескавшись и насмеявшись в прохладной теплоте морской воды, мы всегда долго искали эту одежду и не всегда все там находили. Темнота пляжа была вязкой и влажной, в нескольких шагах все терялось во мгле,

и мы часто не досчитывались на время какой-нибудь пары, аукая их и ругая наконец-то нашедшихся. И затем весело поднимались вверх по крутым склонам, шли босыми в мокром песке ногами, и голоса наши, как падающие с горы веселые камешки, многократно отражались от моря, неба и нашего неповторимого счастья.

(Этот морской песок на ногах – высохали ноги, и он осыпался без остатка. Но не совсем – как-нибудь, залезая в ванну, присмотришься внимательно – и ты непременно увидишь песчинку на сгибе ноги, на голеностопе, слева, на левой ноге – – – это памятный знак – – – это наше море и звук его неповторимой волны, именно той, услышанный однажды летней ночью, а все, что ты слышал в длинной своей жизни, это другое, и оно не в счет. Это метка, ты и я, мы отмечены каждый нашим морем, в единственную дарованную нам ночь, в разное время нашей жизни, каждому, если он достоин, наше море дарит такую песчинку – и ты постарайся ее не потерять!)

Как легко дышалось на крутом этом подъеме, как вкусен и прохладен был морской воздух, как ласково гладили наши ноги ветви кустов... И сыпались с неба звезды над нашими головами, но мы даже не пытались их пересчитывать и подбирать, в уверенности, что так будет всегда, – ночное и ласковое море, и веселые голоса друзей. И этот подъем среди падающих, задевая наши плечи, звезд.

И потом в темноте ночной комнаты трудно было понять источник мерцающего пульсирующего света, где он, и вдруг на подушке ты находил маленькую звездочку, запутавшуюся в волосах подруги...

Странно и то, что перестали падать теперь эти звездочки, так много было их раньше, и все казалось – еще будут и будут...

Так жили на дачах. Иногда летом на неделю мог зарядить дождь. Становилось прохладно и очень сыро. К морю можно было идти только с зонтиком, одевшись во всякие свитера и ветровки, потому что на море был ветер, и он гнал с остервенением белые от злобы волны, разбивая волнорезы, пляжные топчаны и руша ограды. На море хорошо было смотреть сверху, с обрывов. В такие дни дачники ходили часто друг к другу в гости, выпить и поговорить. Шли гуськом, узкими дачными дорожками, и мокрые ладо-

ни кустов норовили погладить щеку, лизнуть в шею, и все пахло влагой и мокрой землей...

А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули – бог их прости! –
От пятидесяти
На сто,

И выигрывали,
И отписывали
Мелом.
Так в ненастные дни
Занимались они
Делом.

А.С. Пушкин. Эпиграф к «Пиковой даме»

В такую погоду хорошо пила водочка под маринованный крепкий и хрустящий огурчик, под раскаленную с жару колбаску, под великое и любовное чувство дружбы. Ходили в кино – на десятую или шестнадцатую станции. Смотрели там всякую дрянь.

Боже мой, как хорошо бывало на даче в дождливую неделю! Как тихо и сладко читалось под монотонность падающего на землю дождя. Дождь был рядом с тобой, не где-то на улице, но вот здесь, он стоял за дверью, как пришедший к тебе, уставший от одиночества гость. Открой дверь, выйди к нему на веранду поговорить, постой рядом с ним, покури. Ночной ветер порывами гнет к земле тяжелые от воды и уставшие сопротивляться ветви, и земля от воды уже тяжелая и сырая. Ветер забрасывает внезапно горстью воду дождя на веранду, тебе в лицо, чихает собака, и странное чувство возникает, что это, увидев тебя, так развлекается ветер, с тобою играя. Ему не холодно и не сыро – ему весело!

Ночной дождь как неожиданное письмо от далекого друга, как колыбельная песня, и в ней нехитрый и простенький мотив:

«От любви бывают дети,
Ты теперь один на свете.
Помнишь песню, что, бывало
Я в потемках напевала?»

«Ах, мой милый Августин,
Августин, Августин,
Все прошло, все...»

– так наши далекие предки засыпали в своих пещерах, так во всех временах своего детства и юности утешался монотонным капельным звуком дождя человек – – великие пространства вселенной начинались у его порога, не имевшие измерений, – – и спокойнее становилось в дожде измученному страхами сердцу, и верилось ему, что беды его преходящи, что мир велик и мудр и что «утро вечера мудренее»!

(Велик и непрост, под стать нам, наш русский язык – «мудренее» или «мудрёнее» может быть предстоящее утро – всего две точки над буквой, но каким различным оно будет, это предстоящее нам утро!

Впрочем, неважно – сегодня главное, что оно будет, наступит.)

В трюмо отражается чашка какао,
Качается тюль, и – прямой
Дорожкой в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо.*

Мы еще поглядим – почитаем

«Пачками вывозились на дачу коричневые томики иностранных и российских авторов, с зачитанными в шелк заразными страницами...

Некоторые страницы сквозили, как луковая шелуха...

* Борис Пастернак.

В корешках этих дачных книг, то и дело забываемых на пляже, застревала золотая перхоть морского песку, – как ее не вытряхивать – она появляется снова.**

Иногда выпадала готическая елочка папоротника, приплюснутая и слежавшаяся, иногда – превращенный в мумию безымянный северный цветок...

Мы еще поглядим – почитаем».

Осип Мандельштам. Египетская марка

И читать – читать!

Полки книжные были удивительны на этих дачах. Десятилетиями туда свозили все, от чего освобождали парадные книжные полки городских квартир. Старые и потрепанные, дореволюционных изданий и часто уже без корешков, подшивки журнала «Нива» соседствовали с послевоенными подшивками «Огонька» (а там Сталин и маршальская шинель Ворошилова, и требовательный Каганович, и интеллигентный видом Лаврентий Берия, единственный, кроме Анастаса Микояна, интеллигентного вида человек в этой камарилье, и дети, первоклашки, выводящие первое в жизни слово «Сталин»...). А там Дюма в утраченном переплете и почему-то многотомный Брем с животными. Но вот сразу несколько военного времени «Огоньков», а это первая мировая война, и в ней чужая и такая далекая жизнь...

Какая-то молоденькая дама на углу улицы 1914 года, в повороте угла, и ее случайный взгляд на фотографа, доставшийся неожиданно мне. Молодая, стройная, и в глазах что-то такое – но ведь уже никогда нигде ее не встретить – – не взять за руку – – – не заговорить – – – не рассказать – не понять, что там было, в этих глазах. Ах, это все дождь... ночной дождь...

Ночью, в дождь, один на даче, как Робинзон в своей пещере на этом острове (интересно, как это он там более двадцати лет обходился без женщин вообще, до появления Пятницы в его жизни? ...и это какая наглость колонизаторская – назвать живого

** У Осипа Мандельштама не было своего родного моря, и эта морская песчинка, скорее всего, из Крыма.

человека Пятницей! – а не каким-нибудь другим более подходящим днем недели).

В те времена дачи мало рознились, так, одни были чуть побольше и побогаче, но все это было вровень, дачной великой республикой. И поэтому выросшие здесь дети не знали розни богатства и отчуждения бедности. В этих дачных районах основным было море, там, внизу, равномерно любящее всех и всем принадлежащее.

На этих дачах выросло множество поколений горожан, разлетевшихся теперь по всем горизонтам земли, сколько их есть. Начиналось это детским ночным криком на одной из дач, и соседи так узнавали о новом поколении дачников. Потом в очередной дачный сезон малыш ковылял уже по продольной дачной аллее, местному бульвару, и все его видели и знакомились. Потом начал бегать, ездить на трехколесном велосипеде, упрямо въезжая в дачные заборы, и дружить начинал со сверстниками, даже если родители знакомы не были вовсе. И так возникало великое дачное братство.

И первая любовь зарождалась здесь, на этой дачной аллее, ведущей к морю и счастью. И просто – брала шестилетняя девчушка приятеля с аллеи за руку и приводила к себе на дачу, показать своих кукол, и сидели в сторонке родители, осторожно поглядывая на эту новую автономную жизнь, и шутили себе втихую – а шутить-то было и незачем!

И воздух этих незабвенных дачных вечеров, полумрак аллеи с пятачками света, выхваченными из темноты чередой качающихся лампочек, звездное небо, опустившееся к притихшей земле... И ты идешь прямо в прохладном пространстве неба, чуть сторонясь пролетающих мимо звездочек, и слышишь тихие голоса, проникающие со всех сторон, из темноты скрытых за темными кустами дач, то тут, ручейком радиоразговора, то там, веселым смехом и женскими голосами... и перебор гитары... то ли еще Галич, то ли уже Высоцкий... и тонкая упругая звонкая нить нескончаемой песни сверчка... Эта песня, на темной аллее, об одиночестве, о том, что все еще сбудется, это сладкое чувство покинутости, предвещающее неизбежную встречу...

Приклеены к стеклам
Влюбленные пары, –
Звонит палисандр
Дачной гитары:
«Ах, вам не хочется ль
Под ручку пройтись?
Мой милый». «Конечно.
Хотится! Хотится!»

Еще как хочется!

Старый сверчок пел Буратино о тепле домашнего очага – пусть нарисованного, пусть в нарисованном этом котле не варится мясо и вообще ничего не варится, а дым, идущий из котла, не пахнет никакой вкусной пищей, но это твой дом, где тебя любили и любят, где тебя ждут глухой ночью, в ветер и злой бесконечный дождь, где тебя заботливо спросят, не устал ли... Ты переступишь порог, сбросишь мокрую одежду, наденешь сухую... сядешь к столу, возьмешь в замерзшие руки раскаленную чашку чая. И растворишься во всем этом, ни к чему не прислушиваясь, ничего не отвечая. И внезапно услышишь старую добрую песню сверчка – – – ты вернулся домой!

Никогда не позволяй себе даже думать, что дом твой разрушен, что тебя в нем никто больше не ждет!

Никогда не ругай свой старый дом. Услышав такую хулу, не вступай в пререкания с неблагодарным глупцом – отстанись. И не ной... Все там осталось как было, пока благодарно бьется наше сердце, пока, не лукавя, помнит. Память сердца – большего нам не надо. И никому не дано! «Это было, было в Одессе ...» – с тобой и со мной!

Было!

Но, когда вспомнишь, внезапно, среди дел и суеты мира, по непонятной причине и без повода вовсе, вспомнишь ночную песню дачного сверчка – не беги к фотографиям и книжкам, чтобы подлечить память, – просто подними трубку и набери номер, и спроси друга, спроси его: «Ведь это правда, на нашей дачной аллее, там, где она делает поворот вправо, по пути к берегу обрыва

когда-то стояла скамейка, покрашенная в зеленый цвет, со спинкой, и краска местами на ней облетела?». И друг твой на далеком ином континенте, подскочивший от полночного звонка, испугавшего жену, спящую рядом, прикрывая ладонью трубку и отдышавшись от внезапности вопроса, скажет тебе: «Точно...».

И тихо добавит, никак не обидевшись: «А ты знаешь, ведь совсем недавно я тоже ее вспомнил, ведь как это странно – там на спинке еще была надпись...».

И потом, погасив свет, и на вопросы раздраженной жены ничего не ответив, он долго будет лежать, твой старый друг, в темноте ночной комнаты – чуть улыбнутся его губы, и послышится ему тихое-тихое пенье сверчка на дачной ночной аллее... он увидит фонарь, качающийся на легком ночном ветру у поворота аллеи прямо над зеленой скамейкой, где вечность назад он впервые поцеловал тоненькую и стройную девушку... и ощутит на своих губах вкус ее еще детских губ... он почувствует влажный и охлаждающий шею ветер с моря, от берегового обрыва... он даже услышит монотонный скрип фонарной подвески, которую... давно надо бы смазать!

Где бы ни оказался такой фонтанский житель, он помнит, как весной зацветает вишня, и затем все остальное начинает цвести и ронять лепестки на землю. Никогда не уследить, как начинается цветение, но всегда внезапно и сразу видишь в полном цвету дерево и поражаешься – когда же успело! Он помнит запах сжигаемой прошлогодней листвы. Не знаю, на что похож этот запах, что-то в нем есть такое – то ли слова в нем растворены, сказанные под этой листвой прошедшим сезоном, однажды теплой ночью или ранним прощальным утром, то ли смех, отзвучавший тогда и впитавшийся в зелень деревьев, и еще запах моря, донесенный сюда снизу, уже осеннего моря, остывающего и печального, и смирившегося с неизбежным приходом зимы.

Для жителей любого глухого угла и места земли понятие «уровень моря» условно, книжная заумь, для нас – вопрос обихода, – только мы живем прямо над уровнем моря и знаем, насколько нам нужно к нему спуститься из Города, либо как круто и долго надо будет подниматься к себе домой. И даже уровень океана выравнивает себя по уровню нашего моря.